

# ЗИНАИДА ГИППИУС

ИГРА И  
ПРАВДА

# **Зинаида Николаевна Гиппиус**

## **Игра и правда**

### **Аннотация**

«Паша – художник. Ему лет одиннадцать, но уже весь он на ладоньке. То есть видно, что к жизни он не приспособлен, и никогда не выйдет ничего путного.

Должен бы прекрасно знать жизнь, понимать, – так криво и грубо проходило его детство; но Паша ничего не знает, или, скорее, ничему не верит, что знает и видел...»

# Содержание

I. Чудеса	4
II. Свадьба	11
III. Грехи	16

# Зинаида Гиппиус

## Игра и правда

### I. Чудеса

Паша – художник. Ему лет одиннадцать, но уже весь он на ладоньке. То есть видно, что к жизни он не приспособлен, и никогда не выйдет ничего путного.

Должен бы прекрасно знать жизнь, понимать, – так криво и грубо проходило его детство; но Паша ничего не знает, или, скорее, ничему не верит, что знает и видел.

Зато попробуйте, скажите ему серьезным голосом самое неслыханное, ужасное или вообще потрясающее: верит сейчас же, до дна, несмотря на свои одиннадцать лет. Пятилетний ребенок усомниться, – а Паша поверит.

Вот он сидит с Лизой, своей двоюродной сестрой, на плоту у пруда.

– Так ты думаешь, на сахарной словится, если очень пожелать? – спрашивает Паша, глядя на Лизу карими, выпуклыми, немного воспаленными глазами.

Лиза – старше года на полтора или на два. Она – вся круглая. Румяная, бойкая девочка с рыжеватыми кудряшками на висках. Пашу раскусила с первого дня, едва дядя Коля, Пашин отец, больной, молчаливый и странный человек, привез

мальчика в имение, к Лизиной маме. Лиза росла одна. Обрадовалась Паше. А кстати, он такой смешной: с ним можно играть, точно с живой куклой. Он весь – чудесная, великолепная игра для Лизы.

Жизнь тоже не особенно интересует Лизу, она гораздо больше любит игру, – то, что можно выдумать и вообразить; пожалуй, и верит больше игре; но все-таки отлично видит их обе – игру и жизнь. Когда никак нельзя иначе – покоряется жизни, учит географию, решает задачи. Паша не умеет решать задач; он сплошь окутан одним переливающимся туманом, не слышными ни для кого звуками; для него нет двух миров, а только один.

В этом Пашином мире Лиза чувствует себя не только царем, но и борцом, и увлекается своей властью, собственной игрой – до самозабвения.

Она знает, что стоит ей захотеть, и Паша до ночи просидит на полу, с палкой вместо удочки, и если рыбы не поймает, то лишь потому, что у него «мало веры». Лиза открыла ему, что «с верой» можно сделать все: и на пустой крючок от шпильки рыбу поймать. В конце концов это же так. Ведь это же сказано. В чудесах «по вере» нет никакого обмана. Лизи-но полусознательное лукавство лишь в том, что она не верит в достаточную веру у теперешних людей, и в свою, между прочим, но Паше этого не хочет сказать. Напротив, она даже убедила его в своей способности творить чудеса; Паша себя перед нею чувствует окаянньм.

Не горе, положим, – но крышка чайника на самоваре явно сдвигалась, подпрыгивала, когда Лиза произнесла: «Тебе говорю, крышка, – сдвинься!»! Другие не слышали, занятые разговорами, но Паша сидел рядом, слышал. Еще, когда дядя Коля за завтраком чистил яйцо, Лиза тихо, но внушительно сказала: «Тебе говорю, дядя, съешь это яйцо!» и дядя съел. Были и другие потрясающие Лизины чудеса...

– Ты знаешь что, Паша, – говорит Лиза, – ты эту палку с веревкой оставь на плоту до ночи, а мы с тобой в пустую дачу всюнощную служить. У тебя веры прибавится.

Паша согласен. Всенощная – его специальность. Лиза же эту игру из всех считает самой потрясающей, – свержигрой. Тут уж она и о своей власти забывает, а вместе с Пашей плавает в его чудесном море.

У Паши, неизвестно откуда, такое точное знание богослужения, что Лиза перед ним спасовала. Вытащила зеленую учебную книжку, да в книжке – сокращено; пришлось так подучиваться. Кроме того, Паша знал все «гласы» и напевы, от простых до самых сложных. Когда он садился за пианино и, выводя серебряно верным голосом «Отче наш» – «Птичку», подыскивал гармонию маленькими узловатыми пальцами, – Лиза рот раскрывала от изумления и зависти. Училась-училась, а только и знает барабанить. А у Паши точно само поет пианино.

Впрочем, она делала вид, что не удивляется, что это просто. Во время вечереи и всюнощных на пустой даче Лиза бра-

ла себе возгласы (ведь она старшая), а Паша был дьяконом, и дьячком, и хором, и регентом. И было удивительно; уж, конечно, удивительнее и правдивее самой, так называемой, «правды».

Игры ведь все разные, одни выше, другие ниже. И только внизу, на конце где-то, – «всамделишное»; оно ниже самой маленькой игры.

Твердо укрепили на плоту удочку-палку с веревкой и пустым шпилечным крючком. Чтобы не свалилась в воду. И пошли быстро к пустой даче.

Дачка маленькая, за парком, за густой изгородью акациевой. Влезать надо сбоку, в одно известное окно. Там, в первой комнате, где в углу столик, а по стенам стулья, у Паши и Лизы под столиком все нужное. Две шали старые, красная и клетчатая; много стеариновых огарков; книги, – учебная зелененькая для справок, и еще толстая в переплете; неподходящая, но она не раскрывается и взята за переплет.

Еще солнце не село, но в комнате уже сумерки от акаций и сирени. И когда Паша зажег все огарки, – стало хорошо: замигали, закивали огоньки, на потолке заходили тени.

Паша пел негромко, истово и проникновенно. У Лизы на душе становилось как-то важно, – и немного страшно; сердце билось, думалось о Паше, о себе и о вере, об удочке там, на плоту... Как же?..

Когда Паша «Свете тихий» запел, – Лиза стала на колени (хоть не полагалось) и подтянула робко, боясь соврать. И уж

было невозможно подумать, допустить, что вот они сейчас вернутся к пруду, к удочке, и на удочке Паша найдет тот же пустой шпилечный крючок. Невозможно, нельзя!

Кончили. Торопливо, шепотом, Лиза сказала:

– Ты не гаси всех свечей. Одну оставь. И знаешь? Побди здесь малое время в одиночестве. Это нужно. А я... тоже. Тут около, в палисадничке, в одиночестве. Когда я стукну в окно, вылезай и побежим... туда. Хорошо?

Паша благоговейно кивнул головой. Конечно, хорошо. Конечно, так надо. Он задул свечи, а перед оставшимся в углу огарком присел на полу, сложив руки. Лиза скажет, когда «бдения» будет достаточно.

А Лиза выскочила из окна и бросилась бежать, только не вниз, к пруду, а вверх, по дороге к дому.

Бежала быстро, в горле стало горячо и бок закололо. На широком дворе остановилась, передохнуть. Уже сумерки были темно-серые. В далеком углу двора светилась кухня. Туда-то Лиза и побежала опять. Как вихрь, влетела по ступенькам. Агафья даже трубу самоварную выронила.

– Ой, что ты, барышня?

Но Лиза уже увидела, что ей надо. Слава Богу! Целых два осталось! И тут же, на блюде, неубранные! Разве не чудо? А это разве не чудо, что ей точно подсказалось, само напомнилось про сегодняшний обед, про них...

Схватила одного, и опять, как ураган мимо Агафьи, по двору, по дороге, по аллее, вниз, вниз, к пруду, ничего, что

уж совсем ночь, ничего, что под ложечкой опять закололо и в горле горячо, – лишь бы скорей, лишь бы успеть...

А минут через десять Лиза снова, но уже с Пашей, и не бегом, а тихонько, подходят к прудовому плотику. Наверху шурились, улыбаясь, звезды, внизу темно, и перил не разглядеть. Но у Лизы огарок из пустой дачи. Защурился и он звездочкой – внизу.

– Ну, Паша, тащи... Вынимай... Только осторожно... Только благословясь... Ведь ты с верой же?..

Дрожащими руками Паша потянул палку с сахарной веревкой. На конце был тот же крючок из шпильки. Но на крючке – рак.

– Поймалось! Господи! Так я и знал! – проговорил Паша, дрожа и еще не осмеливаясь дотронуться до рака.

У Лизы сердце билось-билось и голос тоже срывался от умиления.

– Видишь? А что? Теперь веришь? И мы не знали, мы хотели только: пусть поймается! Думали же на рыбу, а вышел рак! Ведь это же удивление!

– А ему не больно? – спросил Паша, по привычке к раку и рассматривая шпильку, смело вонзившуюся в рачий живот.

– Нисколько не больно! Он умер. Он красный и не шевелится. Живые раки – черные, а если красный, – значит, уж умер.

Наверх, в аллею, шли медленно. Лиза несла удочку и догоравшую свечку, а Паша – рака, бережно, в двух горстях,

как святыню. По дороге решили зарыть рака под стеной у каменной беседки и сверху нацарапать – той же шпилькой можно! – знак, приметку. Будут приходить и вспоминать. И только им двоим на всем свете будет известно, почему тут знак. В самом деле, разве Паша не понимает, что нельзя его нести домой, показывать и вообще нельзя никому-никому дома про это говорить? Про тайну нельзя говорить.

Паша отлично понимает. Еще бы! Потом, после, когда, например, кто-нибудь «усумнится», так ему надо... Но и это даже неизвестно, надо ли... А теперь – Боже сохрани! Теперь зарыть молча.

Так и сделали. Зарыли рака под каменной беседкой, в углышек, знак поставили на стене. И – никому!

## II. Свадьба

Было одно чудо постоянное. Лиза часто водила к нему Пашу и показывала.

Это – образ над входными церковными дверями. Церковь тут же, в парке, к ней ведет недлинная прямая липовая аллея; когда захочется – тогда и придешь к паперти, посмотришь.

Высоко, под навесом, висит образ. А чудо – что если прямо на него глядеть, – видишь Духа (голубя); а справа зайдешь – голубь пропадает, является Христос; слева зайдешь – ни Духа, ни Христа, а во всю икону – Отец.

Лиза-то в глубине души знала, что это не чудо, а как-нибудь особенно сделано. Но ни у кого нарочно не спрашивала, как сделано: жалела, что не чудо, и немножко завидовала Паше, которому и в голову сомнения не приходили.

Потом была игра с бабушкиной круглой лупой. Лиза уверяла Пашу, что великолепно может рисовать. Сличишь, что срисовано – не отличишь. Ходили к беседке, к пруду, к церкви с лупой. Лиза нажимала рамку, делая вид, что переменяет рисунок, и показывала Паше около церкви – четкую хорошенькую маленькую церковь на стекле, а около беседки – беседку. Ведь, правда, похоже, не отличишь? Паша удивлялся и благоговел. Знал, что Лиза рисует это большим волшебным карандашом, но его надо брать в руки умеючи, надо быть «достойным».

Прискучили, однако, и картинки. В пустой даче службы продолжались, но все те же: вечерни да молебны. В зеленой книжке еще была свадьба, сокращенно очень. Лиза спрашивает:

– А ты знаешь, Паша, как свадьба?

– Знаю. «Гряди голубица», и другое. Только для чтения нужно голос густой... «Да боится».

– Ну ничего. Давай, мы тебя женим?

– Давай. А что ж будет?

– Будет, что ты будешь женатый. Сначала придумаем невесту...

Невесту решили сделать общими силами. На длинную половую щетку Лиза надела сначала маленькую подушечку – перевязали шею. Вниз побольше подушку – затянули ее в старый мамин корсет. (Хорошо, что мама в город уехала, а бабушка ничего, смотрит и смеется.)

После этого остались пустяки. На голову – черный коленкор, а сверху – кружевной шарф; мамино платье из шкафа отлично сидит на корсете. Руки из скрученных полотенец. Лицо раскрасили по наволочке, – белое вышло, румяное, брови... бровей Лиза перепустила, Паша поглядел... как-то страшновато... Ну ничего. Невеста хоть куда, видная, больше жениха ростом. Свадьба заняла порядочно времени: ведь жених был не только жених, он же и певчий, и чтец... Но все обошлось прекрасно. А какое освещение! Лиза нашла в буфете два фунта цельных свечей.

После церемонии перешли пировать во вторую комнату пустой дачи, со всеми свечами. Пили квас, он пенился, как шампанское. Невеста не сгибалась, поэтому не могла сидеть за столом; что за беда, может и постоять.

– Ну, теперь довольно, – сказала Лиза. – Теперь ты бери ее, тащи в окошко. Пора домой. Скоро мама вернется.

– Тащить мне?

– Ну а как же? Ведь это – твоя жена. Теперь она всегда будет с тобою, день и ночь, навсегда. Раз она ходить не умеет, – ты должен всюду ее таскать с собой, понимаешь? Ни на минуточку не оставлять.

Паша растерялся.

– Всегда? Она такая... тяжелая. Она...

Покосился на жену, на ее черные, страшные брови. Жутковаты.

Но взял за талию худой ручонкой, поволок, накренив, к окну. Вялые руки жены болтались, щеточная нога шебаршила по полу.

Паша выскочил, кукла лежала поперек подоконника. Снизу Паша потянул ее за голову, щетка перевернулась, выпала прямо на Пашу и ударила его по спине. Он присел и вдруг заплакал.

– Не смей, не смей! Подыми сейчас. Тащи за собой! – торжествующе и громко закричала Лиза, сама выпрыгнув вниз. – Ага, теперь нечего реветь! Сам женился! Это уж навсегда, навсегда!

Паша схватил было опять куклу. Лицо ее поднялось, в сумерках брови еще почернели, и Паша ясно увидел: одним круглым глазом она моргнула.

С воплем отчаяния, замахав руками, Паша бросился прочь. Бежал, не зная сам куда, по дороге, по аллее, опять по дороге. Все пропало, конечно, все пропало, потому что ведь навсегда, и не убежишь, вот уж нагоняют, и все ближе, не убежишь... а он все-таки бежал и вопил.

За ним бежала Лиза, полюбив растрепавшуюся вверху куклу, волоча ее платье и щетку-ногу по пыли.

– Не уйдешь, не уйдешь! – кричала Лиза дико и злорадно.

Уж они оба не знали теперь, куда и зачем бегут. Но в этом беге и отчаянное, и тупое что-то: такое – «до дна игры» для Лизы, такое – «навсегда пропал» для Паши.

Неизвестно, чем бы кончилось, если бы Паша, мечась в стороны, не наткнулся на забор. Наткнулся, зашатался и упал. А забор был придорожный, у самого крыльца.

– Что это за крик? Кто это? – произнес спокойный мамин голос.

Мама, едва видная в темноте, только что вернулась со станции; еще коляска не успела отъехать. Отворили на крыльце дверь, и в желтой полосе света мама увидела странное.

Пашино лицо грязное, бледное, залитое слезами. Горящие глаза Лизы и рядом с Лизой – еще кто-то, с болтающимися руками и громадной, раздрызганной головой.

– Мама... Он не хочет... Ведь это же нельзя... Ведь это навсегда... Скажи, что нельзя... – начала Лиза с налету, задыхаясь. Но вдруг смолкла.

Мама взяла Пашу за руку и повела домой. Поплелась туда и Лиза, таща кое-как злосчастную подушечную жену.

Паше дали валерьянки и отправили спать к бабушке. Долго стыдили и уговаривали упрямую Лизу. «Ты с ума сошла? Что за вздор? Что ты еще выдумываешь? Какие глупости. Чем ты его раздражила? Ведь ты большая, а это нервный ребенок...»

Лиза не слушала: так все известно, так обыкновенно! Ну и пускай.

А Паше она еще покажет... Пусть он хорошенько раскается. Да, кается, кается...

Хоть мамины слова были совершенно верными и понятными, а Лизины мысли совершенно глупые и непонятные, Лиза их, свои, понимала. И мама все говорила даром.

### III. Грехи

Незаметно обошлось. Наволочку вымыли, подушки положили на место, «она» распалась без следа, из-за чего дуться? Впрочем, Лиза предписала Паше пятьдесят поклонов в пустой даче. Он начал класть, но не доложил: приехал дядя Сережа, поручик, поселянин в пустой даче. И Лиза! с Пашей должны были путешествие туда оставить. Теперь дядю навещали. Паша больше заинтересовался было военной службой; расспрашивал, как ангелы воинство крыла-ми закрывают, и все такое. Но дядя про это ничего не знал, на войне не был, а Пашу дразнил трусишкой.

Похолодело, пришел август, на березах повисли желтые гроздья. В каменной беседке, с двух сторон открытой, бродили сквозняки, но в одном углу ничего, уютно. Там и сидели дети часто.

Паша – все такой же ясный, беспомощный и весь будто на этом свете. А Лизе досадно скучно: дождик скучный, скоро гимназия скучная, вся «правда» скучная, а «неправда» – грешная? Да вот это еще: сколько она, Лиза, врала и обманывала, – Пашу, например. Ведь рака того она на удочку насадила. А между тем и раскаяния нет... Или есть? Или нет?

– Бабушка говорит будто, – сказал Паша. – Успенский пост. Говорят, у ней грехов много.

Лиза встрепенулась.

– Знаешь? Давай и мы. Хочешь? Разве у нас мало грехов? Очень много!

Согласились. Бабушке сказали, маме. Стали постное есть. Паша очень любил размазню с конопляным, раз так наелся, что называется, «до пресыщения». Лиза скромничала, ела мало, а в душе мучилась, какие грехи сказать о. Никандру: невозможно понять, где грех, где не грех.

О. Никандр – молодой, волосатый, прыщавый и бурно веселый, а попадья у него гнусит. О. Никандр приходит в гости, громко хохочет, говорит неинтересное, – и тогда он одно. А в церкви, в голубой парче, с кадилом в руке (дьякона нет), серьезный, – он совсем другое. К тонкому Пашиному голосу и дрожащему дьячковскому, на клиросе, о. Никандр иной раз присоединяет свой, густой и низкий, как дым кадильный, и Лизе тогда кажется, что это архангел поет из купола церковного.

Как за ранней обедней хорошо: церковь пустая и гулкая, из открытого в сад окна веет предосенним, жмущим холодком, Пашин голос серебряный будто качается на мягком и широком голосе о. Никандра; слов не разобрать, – да и не надо; знаешь только, что все это не о «правде», то есть, именно, о «правде», которая не та правда...

Путаница разбивает Лизину тихую радость, и вот опять она с ужасом думает о «грехах».

За день перед исповедью на Лизу нашло. Глядела-глядела на Пашину безмятежность и вдруг заговорила строго:

– А ты пишешь грехи?

– Как... пишу? – оторопел Паша.

– Что же ты о. Никандру скажешь? Все утаишь?

– Да, нет... Господи! Я скажу грехи.

– Какие же?

Паша не знает, какие, и мало-помалу погружается в отчаяние. Круглит глаза.

– Лучше и не ходи, если намерен скрывать, – с неумолимой жестокостью добивает Лиза. – Все-таки лучше. Или записывай!

Паша срывается с места (они в пустой столовой, за круглым столом), бежит, притаскивает чернильницу мамину, перо. Бумаги нет, но Лиза великодушно несет свою старую тетрадь, налинованную клеточками.

– Пиши! – приказывает Лиза. – И горе тебе, если что утаишь!

Горе уже началось. Во-первых, Паша скверно, с трудом пишет, а во-вторых, он абсолютно не знает, что писать: все грехи у него из головы точно вымело, вообще, грехов нет на свете. А тут еще Лиза сидит, как грозный судья, глядит, усмехаясь, ждет. Пальцы в чернилах, а на бумаге – ни одного греха.

– Ну, вспомни... – поощряет Лиза, боясь, что не будет толку. – Ты кашу не ел... до пресыщения?

– Да, да, до пресыщения... Ел, ел... Сейчас... Вот... Сейчас запишу...

Дрожащей рукой выводится «пресыщение». Следующим грехом Пашу точно осенило:

– А я дядю Сережу назвал раз офицеришкой... Я запишу... а?

Лиза строгими глазами наблюдает, как выводятся каракули: «офицера офицеришкой».

Ну а больше нет грехов, хоть умри. Паша ерзает на стуле, тербит себя за волосы, лазает по всем карманам, точно надеясь хоть там нашарить грех. Вот из бокового, из курточки, вытащил что-то маленькое и бессознательно держит между пальцами.

– Что это? Что это? – накинулась Лиза. – Ведь это кость? Куриная косточка. Зачем ты ее в кармане таскал? Сухая, значит, давно таскаешь. И скромная, пойми, куриная, скромная!

Конечно, Паша понял. Вот он, настоящий-то грех! Вот он! Но как написать? Слова запрыгали, увертываются, не укладываются, и неизвестно, на какую букву нацелиться.

– Просто пиши, просто – «скромную кость»... Написал? «...долгое время... в кармане имел...» Вот посмотрим, будет ли тебе отпущение... Написал?

В эту самую минуту принесли в столовую самовар, и пришла мама с дядей Сережей, офицером. Скрыть ничего было нельзя, поздно: и мама вслух прочла все грехи.

«Офицеришкой! Кости скромные!» – воскликнул дядя Сережа и стал хохотать. А мама рассердилась на Лизу.

– Это опять ты выдумываешь, опять его дразнишь! Стыдись, свои грехи лучше вспоминай! Чтобы я об этих костях, ни скоромных, ни постных, больше не слыхала!

И вдруг случилось неожиданное, никогда не виданное: разъярился Паша. Выхватил предерзко тетрадь у дяди Сережи, заморгал круглыми, воспаленными глазами, закричал:

– Это мои грехи! Мои! Никому не отдам! И никто не смеет... заставлять, чтоб утаивать. Я сам писал. А вы ничего не понимаете! И офицеришка ничего... И тетя Надя ничего... Я их бабушке прочту, она знает, у ней самой много грехов, а вы не смеете!

Дядя и тетя онемели; Паша же кинулся с дорогой тетрадкой в мезонин, к бабушке. Уж, конечно, не отстала и Лиза, – вместе помчались.

У бабушки тихо, темновато, одна лампадка зеленая горит, но и при лампадке прочесть видно.

Бабушка не сразу поняла, в чем дело. Паша задыхался. Лиза перебивала. Наконец, кое-как рассказали, прочитали. И Паша немного успокоился.

Бабушка не рассердилась и не засмеялась. Помолчала, вздохнула.

– Это все грехи, милый, грехи, – признала она. – И косточки, и каша, – грехи. Во грехах каяться хорошо. А только я так рассуждаю: ты завтра этой запиской батюшку не тревожь. Где ему там у аналоя читать! И вперед не суйся, а что он спросит – то и отвечай, «грешен», мол. Ведь, ты не отцу

Никандру, ты Богу каешься, разве Он твоих грехов Сам не увидит? Увидит, и разберет, и простит, ты только с душой-то открытой подходи...

Лиза перебила взволнованно:

– Разберет, бабушка. Сам разберет, вы думаете? Сам увидит?

– Да что ты, милая, сомневаешься? Ты не бойся, душу открой и скажи мысленно: помоги, Господи, моему неведению! Вот тебе все тут и дастся.

Лиза почувствовала, что у нее и сейчас уже открывается душа, и всю ее, все про нее, Бог отлично видит и знает. И разбирается в ее грехах по правде, не по той «правде», которую не любит Лиза, а по настоящей, где все чудесно и весело, как в игре, даже лучше: ведь в Божьей-то правде на самом деле и непрерывно делаются громадные чудеса.

При зеленой лампадке, с бабушкой, с Пашей, который ни в чем не сомневался никогда, – чудеса казались близкими, – вот руку протянуть. Чаю не пили, с бабушкой тихо просидели, потом спать легли. Лиза два дня следующие держала себя важно, осторожно, точно боясь что-то расплескать. Зато, когда все благополучно кончилось, и они после причастной обедни вышли на паперть – Лизе было ужасно весело! Весело и легко: она сделалась, как Паша.

Солнце играло пятнами на липовой аллее, небо так голубело над золотой березой, что глазам больно.

– Паша, побежим! Скоро-скоро, по аллее! Ведь мы теперь

легкие, ведь у нас теперь еще никаких грехов, никаких грехов нет!

Они взялись за руки и побежали.